

Три аргумента – в поддержку не самого очевидного заголовка нашего материала. Аргумент первый – в эпоху кризиса литературы и связанных с ней областей сознания мы должны использовать региональный контекст. Не просто изучать творчество местных писателей, но стремиться к увеличению масштаба тех мастеров словесности, кто действительно достиг успеха. Так происходит, например, в Иркутске с Александром Вампиловым и с Валентином Распутиным.

Краснодар в этом контексте богат не меньше. Поэзия – Юрий Кузнецов, проза – Виктор Лихоносов, критика и литературоведение – Юрий Селезнёв. Кузнецов и Селезнёв родились на Кубани; потом уехали, сделав имя уже в Москве. Лихоносов появился на свет в Новосибирске, став не только студентом Краснодарского пединститута, постоянным жителем края, но и писателем, прославившим Кубань, – прежде всего, романом “Наш маленький Париж”.

Все трое – в современных контекстах Русской идеи. Переведённое на язык идей и обрётённых принципов творчество Селезнёва, Кузнецова, Лихоносова должно стать сильнодействующим знаком и кубанского стремления высоко держать планку национальной литературы, и тех серьёзных предложений в области словесности, которые превышают региональное значение. Да, они – “местночтимые”. Об этом надо напоминать себе, студентам и тем южным чиновникам, которые – пусть по долгу службы – нуждаются в культурных святынях. Однако то, что мастера сделали (в лице Виктора Лихоносова продолжат делать), должно работать на высоком уровне – и теоретическом, конечно.

Аргумент второй – стоит преодолеть инертность стандартных, пафосных характеристик, переводящих значимые имена в режим сугубо торжественный. Можно снова и снова констатировать высокие национальные смыслы русских авторов. Однако важнее искать тот язык-посредник, который позволит оценить значение состоявшегося художественного мира как факт интеллектуальной жизни, как вклад в становление Русской идеи. Вещая в разных аудиториях о Лихоносове и Кузнецове, мы должны представлять себе не соратников, говорящих с нами на одном языке, а серьёзных оппонентов, которых необходимо победить и перевести в нашу веру. Если этого не произойдёт, и интеллектуалы правого фланга продолжают использовать архаический, героико-эпический диалект, круг понимающих эти речи будет с каждым днём закономерно сужаться и локализовываться.

Победа – не в повторах, не в комфортной трансформации разговора о литературе в социально-политический ритуал. Не национально-закрытый, а настоящему имперский смысл заложен в наших ценностях. Можно считать, что “Москва – III Рим” призывает воздвигнуть стены и спрятаться за ними в собст-

венной стерильности. Лучше двигатьса к иному: если мы — III Рим, то это должны признавать за чужими бастонами, оценить нашу аполугу литературу.

Третий аргумент — в области проблемы “литература и религия”. В 2016 году священником Георгием Селиным была организована и опубликована книга “Загадка 2037 года”. В моём сознании она предстала следующим посланием: “Веками жил русский человек по-христиански, но появляется литература, и всё рушится. От словесных фантазий до реальной катастрофы рукой подать. Русская литература и Октябрьская революция сопоставимы по разрушительным последствиям. Пока Пушкин и Достоевский будут пророками России, Ленин и Сталин останутся её апостолами. Не обновлённые версии диктаторов, а сам антихрист появится, если служение художественной словесности продолжится. Литературу надлежит рассматривать в одном ряду с водкой и наркотиками. Чем гениальнее произведение, тем больше оно поглощает человека, перепутавшего Слово Божие с коварной речью очередного обольстителя. Жизнь превращается в дурной сон, полный обманов. Достоевский, говорите? Либерализм, сентиментальный гуманизм, лживая всечеловечность... Восторгаемся стихами Пушкина и оправдываем его связи с женщинами? Никого поэт к Христу не привёл. Лишь доказал, что литература — огромнейшая псевдолечебница. Литературные герои — агрессоры, захватывающие жизнь. Их никогда не было. Как отгородиться от выдуманного мира литературы и не пачкаться им? Может, на каждое слово ставить кавычки, чтобы дальше кавычек ложь не распространялась? “Татьяна” “полюбила” “Онегина”. Литература — грех идолослужения. Она возникла с целью заменить Четьи-Минеи, святоотеческую письменность, Священное Писание. Классиков литературы пора назвать тем словом, которым они заслуженно должны быть названы, — еретиками и отступниками от Христа. Помните, культура — орудие духовного разложения”.

При всей экстравагантности атаки на прозу и поэзию, не стоит считать её случайной, полностью зависимой от воли человека, уверенного, что художественная словесность — самая мрачная крепость на пути души к Богу. Возможно, у этой позиции многое ещё впереди. Рациональное начало нашего времени может проявляться по-разному. С одной стороны, агрессивная бессловесность новейшей цивилизации. Она способна любую, самую важную речь растворить в культе лёгкости и житейской прагматичности. С другой стороны, в сакральной риторике готов сформироваться коллективный фарисей. То, что он возможен, книга о. Георгия наглядно показывает.

Не думаю, что в последних фразах есть какой-то негативный жест против христианства. Порою для нашей души достаточно лишь одного внезапного шага, чтобы храм и священный календарь, Таинства и повседневность пребывания в Церкви убедили в исключительности пути спасения, его безусловно единства с “тесными вратами”. А врата эти тесные допустят ли существование литературы?

Возможно, я преувеличиваю опасность для художественной словесности. И всё же... Литература нуждается в своих апологетах. В помощь нам — творчество Юрия Селезнёва, Юрия Кузнецова, Виктора Лихоносова.

Итак, как воплощённая идея — Юрий Селезнёв. Он был литературоведом и критиком. Однако хорошо понимал, что в сложившихся условиях позднесоветской борьбы высказывания о современных художественных текстах, суждения о русской прозе и поэзии — не в зоне профессиональной узости и интеллигентской кастовости. То, что мы не совсем удачно называем “критикой”, становится пространством высокоточного оформления мировоззрения, его явления в речах о психологии и философии, религии, политике и народной жизни. Именно литературное произведение, отразившееся в сознании готового к сложности читателя, превышает ограниченность каждой из гуманитарных областей, оказывается миром, словно специально созданным для решения важнейших духовных вопросов.

Литература — не религия, но Селезнёв знал, как важна литературная дискуссия 70–80-х годов для обретения необходимых теологических ракурсов. Литература — не политика. Но от истолкования классических текстов зависит будущее — не филологии, не университетской жизни, а жизни страны, её судьба. Литературное произведение и напряжённая речь о нём — полемика о главном. Она не может полностью провалиться в искусственность, выродиться в пустоту, потому что предметом является сама жизнь, схваченная гениальным мастером в самых значимых моментах, обрётённая в той совершенной композиции, которая поощряет быть философом и борцом за смысл,

формально оставляя литературным критиком. Она не ступень к более важной риторической деятельности, она сам субъект важнейшего словесного творчества. Без разговора о литературе – так думал Селезнёв – враги классического человека получают дополнительные шансы на обрушение России и мира во тьму. Литература – *удерживающий фактор*? Видимо, да.

Интересны не “христианские мотивы” – там, там, ещё и вон там... Есть, по Селезнёву, ветхозаветное начало: вульгарно-националистическое, неотвратимо-телесное, погрязшее в морализаторстве и юридических комплексах, превыше всего ставящее фарисейскую точность, Бога понимающее как высшего из возможных фарисеев. Есть начало новозаветное: обретение Бога в расширяющемся внутреннем мире, который побеждает юридические приговоры силою Благодати, явлением истины в слове, в душе, умеющей каяться и прощать, знающей, что Спасителя и спасение нельзя выучить так, как мы поступаем с житейскими и профессиональными формулами. Литература в самых высоких формах (здесь, прежде всего, Достоевский) и есть явленный в художественном слове “Новый Завет”, разбивающий мир рациональных, корыстных или просто прагматических суждений, который Юрий Селезнёв запечатывал в понятие “Ветхий Завет”.

Литература и есть побеждающее христианство? Да! Надо, конечно, учитывать особенности селезнёвского времени, когда прямой доступ к церковной жизни был максимально осложнён. Так что литература и есть какая-то феерически безграничная свобода, предельно чёткий антоним “тоталитаризма”? Нет. Новый Завет – да. Некое либеральное христианство – нет. Поэтому Селезнёв включается в полемику с Михаилом Бахтиным, отказываясь подражать многим современникам в отождествлении христианства с “полифонизмом” и “амбивалентностью”. Создаётся ощущение, что в главной идее Юрия Селезнёва учитываются два фланга, заслуживающие не только нашего внимания, но нашей постоянной борьбы. Один – разрушающий жизнь рационализм, скрытое презрение к слову ради нормативного, бездушного, но очень удобного божества. Второй фланг – не менее разрушительный “карнавал”, превращающий бытие слова в безответственную игру стилей и речевых практик, давно утративших всякий здоровый центр.

Литература – не слабый компромисс, не заигрывание с богами закона или вневещического раскрепощения. Литература – истинно христианское дело усложнения душевной жизни человека. Но не в рамках амбивалентности, когда верх и низ меняются в символическом танце местами, а в границах соборности, способной дать свободе форму положительного действия, предотвратить растворение в многочисленных явлениях пустоты. Против амбивалентного Гамлета, замученного йориковским знанием смерти, Селезнёв выпускает Дон Кихота – пожалуй, самого главного христианина из литературных воплощений Иисуса и принесённого им учения.

Как истинный литератор Юрий Селезнёв, даже оставаясь в границах канона, стремится создать свой апокриф. Так и с Юрием Кузнецовым. Во времена усиления графоманов и резкого уменьшения толковых читателей Кузнецов продолжал верить, что поэзия – тайна, первый поэт – Бог, его дар – художественное слово, божественный способ общения с человеком – миф. Это не синоним вымысла и наивности, а главный смысл творчества. Благодаря мифу вроде бы случайные слова превращаются в духовное знание. Поэзия ближе к философии и религии, чем к рифмованному удовольствию.

Дерзкий, красивый в мрачных парадоксах Кузнецов. Трудный в общении, создающий себе врагов при отсутствии видимых причин, всегда атакующий первым. Рисовать его портрет мягкими красками не стоит. Был свободен от гордыни? “Звать меня Кузнецов. Я один, // Остальные – обман и подделка”. Был мягким и пушистым в любовной лирике? “Я вырву губы, чтоб всю жизнь смеяться // Над тем, что говорил тебе: люблю”. Превыше всего ценил родовые связи? “– Отец! – кричу. – Ты не принёс нам счастья! – // Мать в ужасе мне закрывает рот!” Не имел никакого отношения к декадентам? “За то, что вам гореть в огне // На том и этом свете, // Позвольте мне поцеловать // Вам эти руки, леди”.

Наш поэт – собеседник вселенской пустоты (читайте “Чёрный подсолнух”, “Великий инквизитор”, “Макбет”, “Осколок”) и одновременно борец с её обаянием. Стихи Юрия Кузнецова не исчезают из памяти. У большинства из них есть фабула – чёткий каркас художественного события. Последовательность слов, их гармоничное, рифмованное сочетание забыть можем. Расска-

занную автором историю – сложнее. Многие образцы кузнецовской лирики стоит назвать лаконичными романами с запоминающейся интригой и взрывным финалом. Это ведь тоже форма борьбы с небытием.

Великолепны реакции Юрия Кузнецова на неблагоприятие мира, на атакующее нас зло. Дать мраку возможность доиграть свой спектакль до конца, добиться формальной победы и быть пойманным, обезвреженным прекрасным произведением (“Атомная сказка”). Взять зажавшегося правителя, показать во всём его бутафорском величии и позволить ему вернуться к себе истинному, способному дотянуться до трагедии, принять смерть, одновременно воскрешающую в памяти евангельского Христа и советского коммуниста (“Сказка о Золотой Звезде”). Размахнуться идеей всеобщей обречённости, бесполезности любых надежд – ведь умрём, сгинем все! – и разбить эту дубину о спокойствие отечественного мужичка. Он знает, что всё пройдёт, но и всё вернётся. Жизнь должна продолжаться (“Мужик”).

На Селезнёве и Кузнецове тень/свет Вадима Кожина – собеседника, друга, возможно, и духовного наставника. Их объединяет интерес к философии истории, к миссии русской словесности, к подтекстовому христианству советской литературы. А также – к поэтике романа, в границах которого рождается человек, победивший *фарисеев* и *пустотников*. Именно в этом я вижу главное влияние Кожина или – чтобы быть корректнее и, возможно, ближе к правде, – пространство совместного движения наших мастеров словесности.

Ранние работа Кожина “Сюжет, фабула, композиция” и “Роман – эпос нового времени” сегодня вспоминают реже, чем его поздние историософские труды. А зря. Здесь с наибольшей точностью и агрессивностью ещё молодого учёного сформулировано кожиновское учение о *романном человеке*. Не *литературоцентричного*, а именно *романного*, сочетающего потенциал героико-эпической фабулы (жесткую композицию нашего пребывания в мире!) с героизмом соиздателя внутренних миров (исключительно персональный сюжет, неповторимо личностный характер присутствия в фабуле существования!). В этом контексте *романом* может предстать не только “Преступление и наказание”, но и стих Кузнецова, а также статья или литературоведческая книга Селезнёва.

В литературе христианин – не тот, кто заставляет персонажей на каждой странице молиться и обеспечатывает православный вариант счастливого финала. Об этом свидетельствует практически всё творчество Кузнецова – резкое, угрюмое, но национальное и религиозное – в осуществлённом стремлении соединить образы сложнейшего внутреннего мира со скульптурной мощью форм, сдерживающих пафос сугубо личных чувств, лирического самолюбования. В литературном произведении христианство – это структура, а не дидактика? Думаю, да. Только так интересы религии и художественной словесности останутся в гармоничном сочтении. Только так оппоненты духа – *фарисей* и *пустотник* – будут побеждены.

Однако в селезнёвской, кузнецовской и кожиновской поэтике граница всегда близка. Та граница, за которой гармония быстро исчезает. Здесь сила именно в этой близости, в том, что всё основное происходит на этой границе. Стоило Юрию Кузнецову непосредственно обратиться к христианской теме, написать “Путь Христа” и “Сошествие в ад”, как многими читателями поэту было отказано в правильном понимании Иисуса и путей спасения.

Юрий Кузнецов знал, в чём его могут обвинить, и защищался. В стихотворении “Поэт и монах”, написанном за несколько дней до смерти, Кузнецов разворачивает перед читателем две точки зрения на творчество. Одну отстаивает поэт: Богу дорога поэзия; в искусстве много плевелов, но “каждый злак – улыбка Бога”. Монашеская аттестация искусства иная: “... Не люблю поэтов. // Изображать вы мастера, // Но только зло и только страсти, // Что так и валят изнутри”. Данный монах объявляется демоном. Автор изгоняет его.

Это печальная победа: Церкви всё меньше, одиночества много, отчаяние рядом. У Кузнецова – не духовная поэзия в её православной норме, а стихи как миф автора, спасающий читателя от “заученного”, захваченного привычкой Бога. Не против Церкви, но и без желания испытать радость в соборе спасающихся душ. Для Юрия Кузнецова состояние бунта не менее интересно и личностно, чем райское смирение. Истинный поэт для нашего земляка выше священника, потому что художественное слово поддерживает или создаёт миф, обеспечивая его постоянную новизну. Значит, продолжает процесс сотворения мира, начатый Богом. Из двух серьёзных угроз – гордыни и лицемерия – Кузнецов больше опасался второй.

В своих последних творениях он настолько усилил значение фабулы (соответственно, ослабил действие сюжетной сложности), что на месте поэта обнаружился пророк и судья. Словно перестали устраивать Кузнецова миф и апокриф в их естественной дистанцированности от закона. Может, это и есть последнее (одно из ключевых слов в кузнецовской поэтике) искушение гения художественного письма – разочароваться в диалектике фабулы и сюжета, перейти к прямой атаке на тех, кто представляется врагами. И потерпеть поражение. Или явить в формальном поражении одну из самых серьёзных побед русского писателя – исход из литературы ради превращения образов искусства в непосредственные явления жизни, факты национальной судьбы?

Виктор Лихоносов – вне влияния Вадима Кожина. Если бы автор “Осени в Тамани” прочитал только что сказанное о Селезнёве и Кузнецове... Лихоносов не любит научных концептуализаций, не допускает доминирования идеи, которая способна стянуть жизнь и память в некий влиятельный знак. Для него литература – область чистых, нежных чувств, напоминание светливому человеку о том, что жизнь прекрасна своей протяжённостью, что она самые высокие точки должна обретать в неторопливой работе души и в воспоминаниях о построенных с её помощью мирах. Победы – личные и русские – не в интеллектуальных конструкциях, а совершенно в ином: люди любят и рожают, воспитывают детей и хоронят стариков, пытаются узнать тех, кто ходил по этим улицам десятки лет назад. В том, что способны беречь своё, понимать то только родное по-настоящему необходимо, подсказывает нужные слова о главном...

Повесть, очерк или запись в дневнике следуют за состоявшейся реальностью, осторожной композицией охватывают её, позволяют сохраниться. Не центристремительной фабулой жив писатель, а возвышенно-медленным сюжетом, в котором не какая-то специальная глубина проясняется, а звучат речи о слишком быстром времени, о забывчивости людей, о радости общения с хорошим словом, о добрых сердцах. Думается, об этом новая книга Виктора Лихоносова, вобравшая в себя “старое” за долгие-долгие годы, – “Тут и поклонился”. Литература тяготеет к очерку, похожему на повесть, и к рассказу, напоминающему эссе.

Специально выдумывать не надо, потому что самое важное для русского человека уже написано – древними, Пушкиным, Толстым, Буниным, Шолоховым. Если правильно оценить оставленное великими, то окажешься в добром и немного печальном настроении, когда важнее наблюдать, чувствовать и вспоминать, чем загромождать мир образами. Не стоит множить литературу! Настоящая литература – это история: не масштабные события и гордые полководцы, а частная жизнь человека и ещё слова о здании, улицах со следами исчезнувшего времени, разных мелочах из жизни классиков, об их могилах, конечно.

Лихоносов – не романтический человек. В значительно меньшей степени, чем поэт Кузнецов – романист в границах стиха, пытающийся завоевать память русскими апокрифами. Лихоносов – не мастер мифологизаций. Миф часто стремится возвыситься над действительно состоявшимся, хочет вобрать в себя отдельность запахов, цветов, спонтанных эмоций, закупорить в эффектной фразе, подчинить сознание риторической схеме.

Не перестаю удивляться, когда Лихоносов в устных выступлениях и в изданных текстах говорит о большом желании вернуть молодость, всё испытать заново, опять прожить жизнь, словно и не было того совершенного, достигнутого, что имени “Виктор Лихоносов” даёт силу и жизнь, уже превышающую статус одного отдельного существования. Как же так? А цель, к которой мы идём? А имя, которое мы делаем? И разве писатель – через все коллизии и страдания – не создаёт своим собственным жизненным движением главный сюжет персональный судьбы? И всё написанное даёт этому сюжету единственно возможную форму. И если повернуть вспять, вновь стартовать в какой-то точке юности, всё будущее исчезнет, рассыплется без шансов на восстановление...

Житейски понятно – хочется жить долго, до боли радостно существовать опять... Так что же тогда литература? За творчеством Лихоносова – сила и красота двух времён: настоящего и прошлого (не будущего!). В их взаимодействии рождается лихоносовская поэзия в прозе, совершенная в русском слове жалоба о скоротечности всех нас и одновременное отсутствие всякого намёка на бунт, согласие с тем, что недолго мы на земле, и только продлить память о нас надо, как мы пытаемся продлить память о былом. Никакой религиозной вечности, никакого намёка на специальное богословие. Здесь будущая жизнь

образа и имени словно рождается из нашего умения создать живую цепь памяти и сбросить тех, кто способен помнить.

У Лихоносова не романное сознание, и всё же главное его произведение – роман “Наш маленький Париж”. У Лихоносова нет любви к мифу, который слишком многим жертвует ради эффектного и почти всегда лаконичного отказа от жизни как процесса и прекрасной повседневности. Однако “Наш маленький Париж” – роман-миф. Это не кузнецовский миф, устремлённый в будущее, словно призывающий к подведению апокалиптических итогов. Это особый миф-плач, позволяющий идти по Екатеринодару-Краснодару, ощущая глубину внутренней формы улиц и старых домов, где обитали герои “Маленького Парижа” – выдуманные автором и действительно существовавшие одновременно. Дух города приобретает тело; патриотизм, теряя слишком риторические контексты, оказывается той стихией, в которой этот город совершенно необходим. Он необходим его жителям разных времён. Нужен он и тем, кто пытается сохранить внутри себя чувство родного, великого в малом, всегда по-хорошему провинциального, даже если речь идёт о Москве. Миф всегда метод. Так и с романом Лихоносова.

Селезнёву и Кузнецову требуются Евангелие и Апокалипсис. Они дают их творчеству центростремительные возможности, шанс на постоянно возрастающую динамику, на миф и апокриф – оружие в русской борьбе. Лихоносов – с Экклезиастом. В его русской ветхозаветности нет того Бога закона и тоталитарной рациональности, который воспринимался Селезнёвым как один из главных врагов человеческой души. С селезнёвским и кузнецовским христианством – так кажется мне – легко совершать вылет из храма, из всей нашей привычной обрядности. С Экклезиастом Лихоносова, наоборот, хочется уменьшить вихревой эсхатологизм, прекратить подгонять время и вернуться в жаркие объятия православной повседневности – со святыми, иконами, литургиями, близкими и дальними святынями. Никогда не делая акцент на богословских ракурсах, Лихоносов освящает быт, уклад, сам образ неторопливого русского человека, всегда согласного с тем, что в Церкви действительно хорошо. “Не надо мифов, уберите ваши апокрифы. Дайте возможность чувствовать душевную и духовную жизнь в размеренности её хода, в её соотносимости с Богом...”

Книги Селезнёва и Кузнецова – вещь о совершенной сложности, книги Лихоносова – вещь о совершенной простоте. Это не значит, что миры Юрия Селезнёва и Юрия Кузнецова – одно. Достаточно сопоставить стремление автора “В мире Достоевского” к соборности и тяготение автора “Атомной сказки” к индивидуализации без границ.

Главное, впрочем, в другом. Вершины литературы – это и есть явление новозаветности против рационализма новейшей цивилизации и сектантства разных национализмов и политических доктрин (Ю. Селезнёв). Поэзия – не предсказуемая молитва, а миф и апокриф автора, который стремится вывести Бога из пределов официальной риторики, пытается снова сделать его обжигающим словом, живым синтезом героической фабулы-поступка и сложнейшей мысли-чувства (Ю. Кузнецов). Словесность – увеличение в мире нежного соприкосновения с реальностью, рост любви и памяти, которая предостерегает от всех фантазий ради обязательного ритуала заботливого сбережения действительно состоявшегося в Русском мире (В. Лихоносов). Думаю, что это фланги, а не оппозиции в границах Русской идеи.

Стоит ли защищать литературу? Не то ли время сейчас, чтобы полностью перебраться в нехудожественные сферы речи, где риторика религии и политики, где дидактика и забота о качестве публицистической борьбы с бесконечными кризисами? Мастер словесности – тот, кто сегодня нужен. Он не останавливается, не уменьшается в размерах в границах большого литературного дела. Это поэт, дерзающий быть агрессором и пророком; критик, желающий выстраивать мировоззрение. Это и прозаик, готовый отказаться от повестей и рассказов ради молчания в пользу бесконечно разнообразной жизни, в самом своём молчании проповедующий реальность ответственного слова.

Литература по-настоящему вернётся в нашу жизнь, когда в ней увидят защиту классического человека от угроз распыления человечности под предлогами, которых много. Творчество Юрия Селезнёва, Юрия Кузнецова, Виктора Лихоносова – мастеров словесности, объединённых и краснодарским культурным пространством, – должно помочь в этой обороне.